

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА
Филолог, журналист

Родилась в Петербурге, закончила филологический факультет ЛГУ и сценарное отделение ВГИКа. Работала преподавателем в школе и институте, в музее-квартире Пушкина на Мойке, занималась журналистикой.

В настоящее время живёт в Иерусалиме. Публиковалась в Париже — в газете «Русская мысль», в русскоязычных журналах и альманахах в Голландии, США, в Израиле.



ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК, ЧЕЛОВЕК-МИФ, МАЛЬЧИК С ДУДОЧКОЙ...

Под морозец мандаринный
И подарочный снежок
Я на свечке стеаринной
Всё бы рукописи жёг...

В. Кривулин

Мы познакомились в университете на филфаке. Сначала я видела его издали — облик был впечатляющим — растрёпанная шевелюра, палка. Обычно он сидел на подоконнике (явно прогуливая лекции), в окружении поклонниц и поклонников, слушающих его стихи. Тоже, наверно, прогуливали свои лекции. Иногда там же играл в коробок с друзьями.

Моя подруга Лена Игнатова хотела нас познакомить. Они-то знакомы были давно, ещё со времён поэтического клуба «Дерзание» при Дворце пионеров, — странное и невероятное сочетание этого клуба и дворца, в котором он обитал. Но оттуда вышла славная плеяда поэтов. Знакомиться мы с ним явно оба не желали. Тем не менее, столкнувшись в университетском коридоре, были представлены друг другу вполне церемонно. И первый же вопрос был: «Хотите, я вам почитаю стихи»?

- Не очень!
- Вы стихов вообще не любите?
- Вообще — люблю!
- Тогда я вам почитаю.

И прочёл довольно длинное стихотворение, тут же спросив: «Ну, как?»

— Не очень, — честно сказала я. Он удивился: «А это?» И прочёл ещё одно стихотворение.

— Это отлично, но это Мандельштам!

На этом мы и сошлись — на любви к Мандельштаму.

И к разнообразным мистификациям...

Через много лет он прислал по мэйлу стихи, и там я увидела стихотворение, звучавшее как отголосок нашей тогдашней любви к Мандельштаму.

Вскоре сложилась своя компания — все любили писать стихи, читать стихи, бродить белыми ночами по городу. Компания была своеобразная — Лена Шварц, Витя, Женя Пазухин, Лена Игнатова, Володя Родионов — математик, за которого Лена Игнатова потом вышла замуж. Он не писал стихов, но рассказывал замечательные сказки-притчи и был неким связующим и светлым началом. Мы обожали всяческие игры — буриме, где каждый радовался, как мог, пытаясь на банальные рифмы сочинить остроумное стихотворение. Рифмы придумывались провокационные: любовь — кровь, часы — росы, карет — бред, но тем заманчивее была идея с ними что-то сотворить. Мы могли устроить маленький турнир, где каждый должен был произнести трехминутный спич на заданную тему (эту самую тему нужно было выудить из символической шапки, пущенной по кругу), где каждый записывал что-то необычное — например, «роль кота в литературе». Это тема оказалась благодатной, бывали и похуже.

Как-то мы решили сочинить коллективный детектив. Каждый — по фразе. Закончился он у нас, по-моему, после третьей фразы. Выглядело это, кажется, так: «На пятнадцатом этаже гостиницы „Англетер“ майор Пронин принимал своих связных. Это были две простые советские девушки Маша и Даша, известные всему миру под именами Маты Хари и Долорес Ибаррури». Ясно было, что этим всё уже сказано, и продолжать не имело смысла.

Но главное, конечно, были стихи. Мы бродили по Питеру, сидели в кафе «Лакомка», приходили в гости к Лене Шварц, которая талантливые стихи начала писать ещё в тринадцать лет. Со временем в нашей компании появилась довольно странная девушка — Таня Т., о ней чуть позже.

Мы собирались и у Вити в его коммуналке на Петроградской. Собственно его — в этой квартире — был только эркер, куда мы и втискивались в большом количестве. На стене у него висела гипсовая маска Пушкина.

Кто-то из шутников написал рассказик под Хармса про Пушкина.

«Поэт Кривулин очень любил поэта Пушкина. Она даже у себя его гипсовую маску повесил. Каждый раз, приходя домой, он щёлкал Пушкина по носу и говорил:

— Ну, как дела, брат Пушкин?

— Да так как-то всё, — отвечал Пушкин.

— А я вот тут сегодня гениальный стих написал, — говорил Кривулин».

Иногда мы с Серёжей Стратановским ездили в Царское село к Кириллу Бутырину. Там бывал Андрей Арьев и многие другие.

Начиналось всё со споров о литературе. Потом чтение стихов, потом мы катались на лыжах, конец был предрешён — водочка, картошка, кислая капуста и снова разговоры о прекрасном.

Собирались и в моём деревянном доме в Лесном. Мой дом — это, конечно, шикарно сказано. Деревянный дом, где жили четыре семьи, был с

балконами, чердаком, палисадниками. У нас была квартира на втором этаже. Маленькая, но мы все помещались в комнате со старинным столом, где мозаикой была изукрашена столешница и держался стол на вырезанных из чёрного дерева лапах.

Мы пытались заняться верчением этого стола. Но он не отзывался.

Как-то Витя провожал меня домой, мы стояли на крыльце и разговаривали. Мимо прошли все наши соседи, все зашли к маме, как оказалось, и сообщили: «Ваша-то Наталья с бандитом тут на крыльце разговаривает». Спустились родители и пригласили нас разговаривать дальше — дома.

На следующий день он принёс стихи.

*Я вошёл в этот дом,
где была полутьма
И как водится ночью в апреле*

*Подышав на стекло
умирала зима,
Пар висел над землёй
И ступени скрипели*

*Всё, что было со мною когда-то — забыл
Потому, что как нежное имя
Я нащупал тепло деревянных перил,
Чуть согретых руками твоими*

А ещё через день мы сидели на скамейке около университета.

И к нам подошла цыганка.

— Давай погадаю, милая, — сказала она.

Я не хотела знать свою судьбу, а Витя тут же востепенел.

Короче, погадала она без всяких денег, сказав, что мы похожи, как брат и сестра, и обязательно когда-нибудь поженимся...

Я засмеялась, Витька обрадовался.

— Ну, теперь уж тебе не отпереться, — сказал он, — пошли жениться...

— Она сказала — «когда-нибудь»...

Через восемнадцать лет мы поженились, приведя в радостное изумление старых друзей, которые шутливо ворчали, что нечего было нам морочить им голову и все эти годы жениться и разводиться.

Они были правы — когда мы с Витькой подсчитали — это был его четвёртый брак, а мой — третий. Но у нас было ощущение, что каким-то необычайным образом мы прожили вместе всю жизнь предыдущую и собираемся жить последующую.

Из семейных преданий

Уже много позже Витин отец – Борис Афанасьевич – рассказывал мне о поступлении Вити в университет.

Тот сдал экзамены на все пятёрки. Но к общему баллу добавлялся еще средний балл аттестата зрелости. А средний балл оказался – тройкой. Борис Афанасьевич всё не мог понять этой железной логики – сын сдал все экзамены на пятёрки, а его не приняли.

Он надел пиджак со всеми воинскими наградами и пошёл к университетскому начальству. Изложил все свои доводы, объяснив, что шестёрку на экзаменах пока ещё ставить не принято, и значит, его сын с отличными отметками никогда никуда не попадёт.

Те покачали головами и принялись объяснять про средний балл аттестата.

Отец разбушевался, потрянул орденами. Стукнул палкой, объяснил начальству, куда они все должны пойти, а он пойдёт в совершенно другое место, где сидит самое главное партийное начальство, где его – фронтовика – знают. И...

Устрашённое известными именами, которые называл Борис Афанасьевич, начальство тут же начало ублажать ветерана, объясняя, что на итальянском отделении просто совершенно нет мест и, может, его сын согласится быть зачисленным на английское отделение.

Борис Афанасьевич согласился. Витю зачислили на английское, откуда он потом быстро перебрался на русское.

Мистификации или плагиат?

И, возвращаясь назад, — о Тане Т.

Она приехала из провинции, училась в университете и как-то неожиданно оказалась среди нас, слушая всё с восхищением и увлечением. Она даже говорила, что наша компания — это «её университеты». Потом куда-то пропала. А дальше... оказалось, что эти «университеты» Таня проходила не зря.

Учёбу она вскоре забросила и уехала в город Горький.

Как-то в горьковской газете «Ленинский комсомолец» появилась подборка её стихов. А в коротеньком предисловии к стихам рассказывалось о молодом и талантливом даровании — Тане Т. Озаглавлена была эта страница — «Доброго пути тебе, Таня». Или что-то в этом роде. Через какое-то время она принесла в ту же газету свои офорты, но по случайности — настоящий автор офортов оказался рядом...

Короче, когда этим заинтересовались, в комнате у Тани нашли экземпляры стихов, напечатанных в газете, но под настоящими фамилиями авторов, среди которых оказались Виктор, Женя Пазухин, Анна Ахматова, Иосиф Бродский...

Вите был выслан гонорар из газеты. И письмо с извинениями и объяснениями.

Мне приятнее думать, что со стихами всё же была мистификация. Не узнать стихотворений наших друзей — в газете могли. А вот стихи Ахматовой и Бродского...

Уже позже, в середине семидесятых, мы продолжали встречаться, часто собирались у Лены Шварц, которая жила тогда на Школьной улице, но теперь мы придумали новый вариант встреч — своеобразный клуб. Потом, спустя много лет, Витя вспоминал о нём.

На Чё90-е гг. рной речке у Лены мы подхватили старинную затею Ремизова и устраивали заседания Великого Обезьяньего Общества. «Шимпозиумы» проходили раз в две-три недели. У каждого была соответствующая кличка.

Один из писателей рискнул спустя десять лет реконструировать атмосферу «шимпозиумов» в своём романе, изданном под псевдонимом. Роман появился не ко времени, прошёл почти незамеченным.

«Наша история, — писал Виктор, — тихо отошла в сторонку и принялась ждать отмеренного ей часа».

И здесь он оказался совершенно прав. Когда-то, перефразировав фразу Гертруды Стайн, обращённую к Хемингуэю, — «все вы потерянное поколение», Витя назвал наше поколение — «пропущенным поколением». И это, пожалуй, страшнее, чем потерянное поколение. Лучшие годы ушли на существование в так называемой «второй культуре». Не может быть — первой культуры, второй, третьей...

Виктор, один из немногих, легко и свободно существовал во всех культурах, во всех жизнях... Он был какой-то непотопляемый, хотя сколько раз любой другой сломался бы на его месте. Хромой, прошедший детство в санаториях, а отрочество в обычных пионерских лагерях, где приходилось бороться за выживание. Дети — жестокий народ, а палка — такая потеха. Можно задразнить до смерти. Но палка, как оказалось, ещё и оружие обороны, а способность интересно рассказывать завораживала потенциальных противников. Вот эта способность завораживать и привораживать осталась у него на всю жизнь. Разговорами, мистификациями, стихами, статьями... В доме всегда было полно народу, в разных городах его всегда ждали друзья, женщины влюблялись, все русские журналы на Западе печатали его стихи. Он блистательно читал свои стихи. Не все стихи были хороши, но в момент, когда он читал даже не лучшие стихи, он настолько завораживал слушателей, что иногда те потом невольно чувствовали себя обманутыми. Они-то покорялись мелодии, голосу. Он, как ребёнок, откликался на всё новое, и это притягивало окружающих. Когда вокруг всё мертвеет, грустнеет, кажется, что ничего нет, тянешься к живому и яркому. Вот он такой и был. Человек-праздник, человек-миф, мальчик с дудочкой. Его стихи были только частью его — его существования, его обаяния, его живого отклика и удивительной интуиции. Но для него-то стихи были главным.

Из Витиных воспоминаний

«Условно говоря, я „семидесятник“ хотя бы потому, что на моём внутреннем календаре отмечена ярко-красным одна дата — 5 часов утра 24 июля 1970 года. Нет, в ту ночь я не писал стихов. Я читал Баратынского и дочитался до того, что перестал слышать, где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил невероятную, не улавливаемую словом свободу, причём вовсе не трагическую, не вымученную свободу экзистенциалистов, а лёгкую, воздушную свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в котором я, казалось, был обречён жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что „времена не выбирают, в них живут и умирают“. Вот оно только что лежало передо мной на письменном столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка пепла. И тотчас за окном, в конце Большого проспекта, вылезло из-за дома Белогруда огромное солнце. Очень большое, неправдоподобно».

Это отрывок из его поздних записок. Может, хорошо, что из поздних, когда оборачиваешься и видишь себя того и себя нынешнего... Себя и свой город: «Я начал писать стихи только потому, что рос среди идеальных пейзажей Петербурга. Петербург — постоянная провокация к поэзии. Даже архитектура его идёт от слова, от текста указа, от волевого акта речи, от театрального (или карнавального) жеста».

Убегая от ареста. Восьмидесятые

Вторая культура существовала сама по себе, власти — сами по себе. Наконец, они опомнились и создали Клуб 81, нашли для него помещение, где, собственно говоря, за поэтами и писателями можно было присматривать, устраивать вечера, пообещать им публикации.

Вечера пользовались успехом. Приезжали гости-поэты из Москвы, да и питерская публика частенько туда заходила. Обещания были выполнены — вышел альманах «Круг» — там напечатали произведения членов клуба.

Но не всё так гладко в датском королевстве: арестовали Славу Долинина — члена клуба, все стали собирать подписи в его защиту...

Город был разным по отношению к Виктору, власти его сильно недолюбливали. Он был диссидентом, вокруг него всегда собиралось подозрительно много «подозрительных» людей, КГБ присматривало за ним и не арестовывало, вероятно, по причине его инвалидности и известности за границей. Хотя нет, один малоизвестный арест почти на сутки был произведён. Помните, стихотворение в самом начале. Это только первое четверостишие, а второе:

*Убегая от ареста
Или просто от тоски,
Симпатическое средство
Жечь свои черновики.*

Так он себе сам и напроорочил.

Осенью 1983 года к нам, на Петроградскую, пришли с обыском. Переворошили все черновики, все записи, все письма, все книги. Всё занесли в протокол, сложили в мешки и собрались уносить. Витя, который с болью смотрел, как забирают Цветаеву, Пастернака и другие книги, прижал к себе книгу Андрея Белого и сказал: «Это — только со мной!»

— Тоже вариант, — ответили ему и увезли его вместе с мешками и томом А. Белого, зажатым в руке. Обыск длился весь день, его забрали вечером. Я звонила друзьям, все ударились в панику, стали звонить по посольствам, и на следующий день его уже выпустили. Он торжествовал, но для полной победы этого было мало. Он написал заявление в КГБ, где объяснял, что книги и рукописи, изъятые при обыске, необходимо ему вернуть (список прилагался). И самое удивительное, что через два месяца действительно всё вернули. Почти всё. Недоставало — Пастернака и Цветаевой. Когда он и их потребовал обратно, перед ним извинились и сказали, что как раз эти книги по нелепой случайности пропали...

— Небось, зачитались и прикарманили, — ехидно сказал Виктор.

Тем дело, к счастью, и кончилось.

Но в нашем сознании, вероятно, совместились «полиция и медицина». Я тогда заболела и много лежала в больницах. Больница — тюрьма, арест — тюрьма.

*Подруга моя в больнице
Друзья мои — кто в тюрьме
Кто пишет из-за границы
Умирая в каждом письме*

*просто? куда уж проще
Вторая неделя Поста
Хлеб горячий на ощупь
Но крупитчатый вкус песка*

*Горький? Не то чтоб горький
Просто хруст на зубах —
Достигает больничной койки
Подопытный визг собак
Полиция и медицина
Душу мою ведут
Коридором неисповедимым —
Хорошо известный маршрут*

*Вывученный по книгам
Явный по детским снам —
И шаги на кафеле диком
Остаются лежать, как хлам*

*Запрещено оглянуться
Руки мои за спиной*

*Подруга в больнице – конверт на блюде
Подпрыгивает как чумной*

*В этой (остановиться
Лицом к стене – и стоять!) –
В этой судьбе очевидца
Чудо ли? Благодать?*

*Вминаю лицо в горчичный
В истязательный колер стен
В иконический ли, в мозаичный
Выход раскрытый всем*

*Боль утолённая криком
Эхо... кричат не нам –
И шагов на кафеле диком
Простирается узкий Храм*

После выхода альманаха «Круг» многие его участники расстраивались, потому что редакторы выбирали для подборки не самые лучшие их произведения. И только Витя сиял и радовался — его подборка была лучшей.

— Ну как, как ты этого добился? — спрашивала я. Стихи и впрямь были хороши.

— Элементарно, — ответил он, — надо знать, когда выпить с редактором. И его переубедить.

Последнее время он много занимался публицистикой, его печатали в известной немецкой газете, да и в прочих, разумеется. Он писал мемуары-эссе — необычный жанр. И там тоже проявлялась эта карнавальность.

Жизнь — игра и фантазия

Мы жили в той же коммуналке на Петроградской. Той самой, где мы когда-то собирались в юности.

Комнатка наша обычно была переполнена гостями, мы оба работали, а летом давали уроки абитуриентам — кстати, все они поступали.

Из воздуха, из окружающего мира он невероятным способом получал информацию — я просто дивилась... Допустим, я считала, что прийти к какому-то выводу можно, зная это и это или — прочтя то и то. Он ухитрялся пропустить все эти этапы и парадоксально прийти к правильному выводу. Как?

Хитёр, изворотлив, талантлив. Он был хорошим преподавателем, ученики его обожали, но и тут он иногда умел изворачиваться.

Как-то я спросила: зачем же он так запугивает сразу абитуриентов?

— Чтоб лучше занимались. Я им задаю вначале вопрос на засыпку. Ответить они не могут и понимают, что нужно внимательно слушать только меня.

— И какой же это вопрос?

— Да что угодно. Как звали отца Татьяны Лариной?

— Нечестно это, я ведь тоже могу задать тебе вопрос на засыпку, на который ты не ответишь. Но это не значит же, что ты не знаешь литературу.

Он воодушевился — задай, задай!

— Какая фамилия была у Настасьи Филипповны?

Он задумался — Тоцкая.

— Почему?

— Ну, у неё же был любовник Тоцкий (читал всё же, — ехидненько добавляю я), — и так же ехидно добавляю:

— А фамилию женщинам тогда давали исключительно по любовникам. Да?

Короче, помучила его пятнадцать минут, сжалилась и сказала, что фамилия её была — Барашкова.

Кажется, после этого он больше не выяснял у учеников имени отца Татьяны Лариной...

А ученики продолжали приходиться к нам в гости и после поступлений.

В восьмидесятые появился и Арно Царт

Как-то мы собрались своей прежней компанией — Витя, Елена Игнатова, Сергей Стратановский, Виктор Ширали. Всех тогда почти не печатали, все любили читать стихи друг другу, всех по-детски интересовал вопрос — кто же из них лучший поэт? Страсти разгорались... И вдруг пришла Лена Шварц и сказала:

— Полно спорить, кто лучший. Я сейчас прочитала стихи Арно Царта — вот кто абсолютно неожиданный и непредсказуемый поэт. Хоть и эстонец, а пишет по-русски. Послушайте.

И она прочла, действительно, странное и необычное стихотворение. Кто-то сказал «ерунда», кто-то с уважением заметил, что в этом что-то есть, а кто-то сказал, что такого быть не может, потому что иначе о нём все уже бы слышали.

— Не верите? — спросила Лена. — Так я приведу его к вам в следующий раз.

Когда мы все собрались снова, то с нетерпением ждали эстонца.

И он пришёл — высокий, светловолосый, говорящий с акцентом. Начал читать по бумажке своё стихотворение, споткнулся на каком-то слове, попросил дочитать Лену. Перед нами был необъяснимый факт. Стихи — хорошие. Да. Этого не отнимешь. Но откуда же он взялся на нашу голову? А он быстро откланялся и ушёл. Страсти бурлили. Что-то настораживало. Но что?

Через неделю Лена позвонила к нам с Витей и спросила с торжеством:

— Ну, как?

— Отлично, — ответил Витя. — Я его, конечно, недооценил в прошлый раз. Но он заходил ко мне на этой неделе, почитал свои новые стихи — гораздо лучше прежних. Он даже оставил мне экземпляр. Вот, послушай... — и прочёл длинное стихотворение Арно Царта о надписях тушью, иероглифах, письмах другу.

— Пригласи его на следующее собрание, пусть почитает и новые стихи тоже.

— Нет, — сухо ответила Лена, — он вчера уехал.

На следующем собрании поэт Серёжа Стратановский сказал, что этот эстонец успел побывать и у него и тоже оставил свои новые стихи. Ничуть не хуже прежних.

Тут уже все дружно рассмеялись. И стало ясно, что Арно Царт — фигура мифологическая. Идея этой мистификации пришла в голову Лене Шварц, которая и написала первые стихи Арно Царта, а когда его потребовали привести, уговорила своего приятеля-актёра надеть светлый парик и изобразить эстонца. Первым, кто разгадал эту историю, был Витя Кривулин, который постарался переиграть Лену своими стихами, а потом Серёжа Стратановский и другие поддержали вполне этот миф своими стихами, и вымышленный Арно Царт неожиданно стал продуктом коллективного творчества. Игрой в Арно Царта увлеклись все — какая радость выступить под маской! Поговаривали даже о том, чтобы издать сборник стихов Арно Царта.

Но Лена Шварц стояла на страже. И в каждом сборнике её стихов, куда включались и стихи Арно Царта, всегда писала: «Необходимо заметить, что этому эстонскому поэту принадлежат только напечатанные здесь стихи. Все остальные, пользующиеся его именем, — самозванцы или, возможно, незаконные дети, но в таком случае они обязаны подписываться А. Ц.-фис или А. Ц.-младший».

И очень жаль, что нет сборника стихов Арно Царта-старшего, его сына, его брата, короче, всей компании, которая с таким воодушевлением подхватила мистификацию, придуманную Леной Шварц.

В восьмидесятые мы впервые попали в Париж. Мы сотрудничали с редактором «Русской мысли» Сергеем Дедюлиным, жили у Татьяны Горичевой, где собирались компании эмигрантов. Слушали песни Хвоста (Алексея Хвостенко).

Эмигрантская среда — художники, писатели, поэты — иногда ссорились друг с другом. Но когда мы собрались все вместе, Хвост взял гитару и начал петь — атмосфера волшебным образом преобразилась, мы снова все близкие и родные. Когда мы пели песни Хвоста — всех объединял его голос, который предвещал дружбу и любовь, и все возвышенные чувства сразу расцветали...

Мы подпеваем Хвосту, а он пел и старую песню, и «Под небом голубым», и песню о том, что мы всех лучше, мы всех краше...

Это воодушевило всю компанию, и мы решили каждое утро начинать с этой песни — очень поднимает настроение.

*Мы всех лучше!
Мы всех краше!
Всех умнее и скромнее всех!
Превосходим в совершенствах всевозможные хвалы!*

Твёрдо решив, что Хвост и Витя — всех умнее и скромнее всех, мы их отправили взять интервью для телевидения у Синявских. Это было мудро — Синявский любил песни Хвоста, а Витя очаровывал Синявского и его жену его стихами и разговорами. Под эти разговоры они так не сразу и поняли, что интервью уже началось... Потом этот фильм был показан по телевидению.

Виктор — рассказчик и мистификатор

Он был фантастическим рассказчиком — правда в его историях так убедительно смыкалась с вымыслом и мистификацией, что истории, рассказанные кем-то, попадая к нему, становились его историями, обрастали достоверными деталями, и он уже сам был уверен в истинности происходящего. Помню, я как-то с упоением слушала в большой компании историю его знакомства с Аллой Пугачёвой, где фигурировало приглашение поплавать с ней в её загородном бассейне, и подробные описания Аллы, самой пьянки и их замечательное ночное купание в причудливом бассейне. Алла пела ему песни, он ей читал свои стихи. Они пили замечательный коньяк... Красивая история из жизни наших знаменитостей. И вдруг предательская память услужливо мне напомнила вчерашний рассказ нашей приятельницы о том, как она действительно побывала в гостях у Аллы, и бассейн там как-то фигурировал. Незаметнейшим для себя самого образом Витя вжилась в эту историю, искренне поверил, что она произошла с ним. И с чистой совестью, и страстью к охотничьим рассказам, рассказывал её. То же происходило и с описанием его встреч с Ахматовой. В рассказах его история видоизменялась, обрастала невероятными подробностями. Мистификаторская история (уже далёкая от истины) становилась бесспорным фактом, в который он сам начинал верить. И заставлял поверить в это окружающих. Поверили доверчивые финны, которые даже написали пьесу, где главными героями были Виктор и Анна, и пьесу эту поставили в музее Достоевского, оставив на память всем присутствующим её перевод.

Из семейных преданий

Ещё одно семейное предание — это уже я слышала от Вити и подозреваю, что это было его очередной мистификацией. Он утверждал, что отец его был большим патриотом и читал Маркса и Энгельса. Так что старшего сына он назвал Карлом — в честь Карла Маркса.

Вероятно, младший сын должен был получить имя Фридрих — в честь Энгельса, но началась война, сын родился в 1944 году, и назвали его Виктором, то бишь победителем. Тоже неплохо.

Правда, и на чужие истории он покупался легко. Как-то, желая подразнить его, я рассказала ему, как в Москве случайно в кафе встретила со Светланой Сталиной, мы пили с ней вместе кофе, расстались друзьями, она приглашала в гости, но, к сожалению, должна была скоро уезжать. Витька слушал эту историю с восторгом, ни на минуту ни в чём не усомнился. Тем же вечером я с удивлением и улыбкой услышала в кругу друзей «мою» историю его знакомства со Светланой. Меня впоследствии судьба действительно столкнула с этой дамой в Париже у Синявских, но я уверена, что его рассказы и фантазии о никогда им не виданной Светлане для него и окружающих были более живые и фантастичные.

Он не врал. Он творил действительность, вольно обращаясь с ней, а в награду за это судьба действительно преподносила ему нечто необыкновенное. В филологических странствиях забрел он в деревушку (кажется, Егорихино), где у всех жителей была одна фамилия — Егоровы, полдеревни — родня. Но в дни великого очередного Пушкинского праздника в порыве энтузиазма райком велел всем сменить фамилии, чтобы это было связано с именами пушкинских друзей и героев его произведений. Так что старуха, которая давала ему напиток из молока, за мёдом послала его к Кюхельбекерам, а если у них не будет, то Пушины тоже неподалёку живут, а Ларины, Гремины, Бестужева, Волконские и Гринёвы — тоже неподалёку. Как раз эта фантазмагория оказалась правдой, и он записал всё по свежим следам. Но именно эту-то историю все и посчитали выдумкой.

Он был интересным рассказчиком. Но каждый раз возникало ощущение, что тебя заворожили и провели. Обманули, хотя не понятно — чем? А в момент рассказа оторваться было невозможно.

Трудно передать суть очень живого и талантливого, искрящегося, грустного, лукавого и мудрого человека, совершившего в своей жизни много хорошего, много плохого (как и все мы), но всё прощалось за детскость, любопытство, неиссякающий интерес к жизни, удивление перед ней, попытку передать всё это. Талант — магнит, к которому притягивалось всё окружающее, и в результате он стал живым воплощением своего времени.

Честертон когда-то писал, что поэты — это не те, кто пишет стихи или вообще что-нибудь пишет. «Поэты — те, кому воображение и культура помогают понять и выразить чувства других людей».

Мне хотелось бы вспомнить некоторые Витины стихи, я их уже цитировала выше, но ещё несколько приведу ниже. Что-то публиковалось в журнале «Стрелец» — в марте 1986 года, что-то вообще не было никогда опубликовано. В основном это стихи восьмидесятых годов.

Во всех стихотворениях сохранена авторская пунктуация, которая воспринимается редакторами как отсутствие её, но что тут поделаешь: он оставил мне стихи как они есть. Могу ли я ставить точки...

*Есть пешехода с тенью состязанье:
то за спиной она, то вырвется вперёд.
Петляющей дороги поворот,
и тёплой пыли осязанье.*

*Так теплится любовь между двоих:
один лишь тень, лишь тень у ног другого, –
смешался с пылью полдня полевого,
в траве пылающей затих.*

*Но медленно к закату наклонится
полурасплавленное солнце у виска.
Как тёмная прохладная река,
тень, удлиняясь, шевелиться.*

*Она течёт за дальние холмы,
коснувшись горизонта лёгким краем.
И мы уже друг друга не узнаем, –
неразделимы с наступленьем тьмы.*

*больничное прощанье второпях
косящий снег, выхватываю мельком:
подвешенная на цепях
ещё качается, качается скамейка*

*сестра моя, мне страшно повторять
над пропастью твоей болезни
что нас касается живая благодать
и ангельская боль небесной песни*

*слова ли штампы ли – им тесно и бело
но горькая лекарственная сила
в них действует, полегче ли? прошло?
чуть помолчи... мне лучше... отпустило*

*ещё растерянность и мартовская смурь
ещё живёшь не оживая –
но помнишь? – ласка... ласточка... лазурь
лоскутья поэтического рая
где только стоит голову поднять –
и от голубизны дыханье перехватит...
халат распахнутый как нотная тетрадь
откуда льётся Бах? – из форточки в палате*